



АНДЖЕЙ  
БАРТ  
ФАБРИКА  
МУХОБОЕК



Анджей Барт  
**Фабрика мухобоек**

«Мосты культуры»

2008

## **Барт А.**

Фабрика мухобоек / А. Барт — «Мосты культуры», 2008

Фантасмагорический роман, где вымысел переплетен с реальностью, день сегодняшний соседствует с минувшим. Это повествование о природе власти, ответственности и чувстве вины, памяти и морали, написанное ироничной, насыщенной аллюзиями прозой с кафкианской интонацией.

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

29

## Анджей Барт

# Фабрика мухобоек

*This publication has been subsidized by Instytut Książki – the ©POLAND Translation Programme*

*Published by an arrangement with ŚWIAT KSIĄŻKI Sp. z o.o., Warsaw*

© Мосты культуры/Геумарим, 2010

© by Marek Edelman and Paula Sawicka, 2008

Поезд мчался в ночи; во всяком случае, все на это указывало. Салон-вагон был изготовлен на заводе Société Industrielle Suisse в Нойхаузене, о чем говорила латунная табличка, прикрепленная под ручным тормозом. Стены выложены черешневым деревом, меблировка тщательно продумана; наибольшее впечатление производит длинная кушетка, обитая зеленым плюшем. Стоит также упомянуть о картине над кушеткой, где изображены красивые горы, скорее всего Альпы, ибо любующийся ими мужчина в коротких кожаных штанах, вне всяких сомнений, напевает что-то на тирольский лад. В отбрасываемом лампой свете вагон больше похож на дом, теплый и надежно защищающий от опасностей, а в монотонном перестуке колес слышится потрескивание дров в камине. На полированном письменном столе лежит открытая тетрадь в клеенчатой обложке, которая – единственная здесь – кажется не совсем уместной: со своими загнутыми уголками, она в лучшем случае может быть путевым журналом машиниста. Что же делает эта тетрадь в салон-вагоне, возможно возившем монархов, и – кто знает – не тут ли было подписано Компьенское перемирие?

Человек, который сидел за письменным столом, не сводя глаз с тетради, добрый час не перевернул страницы. Когда же он наконец встал, то сделал это так резко, что едва не опрокинул стул. До окна ему несколько шагов, так что есть минутка, чтобы хорошенько к нему присмотреться и убедиться, что это красивый, под стать окружающей его обстановке, старик. Высокий, с седыми волосами и голубыми глазами – которые если с возрастом и чуть выцвели, зато приобрели неизмеримую глубину, – он мог быть украшением палаты лордов, и, как знать, не его ли вместо Дизраэли королеве Виктории следовало назначить премьер-министром. В вагоне, видимо, было жарко, поскольку почтенный старец рывком открыл окно. Ветер немедленно взъерошил белые волосы, которые, ожив, сделали его похожим на пианиста Падеревского, кстати, тоже премьер-министра. Он уставился в темноту, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. О том, что это ночь, а не самый длинный в мире туннель, свидетельствовало усыпанное звездами небо и луна, как всегда в конце августа напоминающая рогалик. Необычным могло показаться только обилие звезд, именно в этот момент вздумавших полететь на землю. Трудно, однако, предположить, что попадали звезды, заглядевшись на рассматривающего их человека. А поезд мчался – пожалуй, слишком быстро, если учесть, что он как раз преодолевал крутой поворот: можно было увидеть локомотив, из трубы которого вырывался дым светлее ночного неба, а время от времени еще и сноп искр, потом долго порхавших в воздухе.

В прилегающей к кабинету спальне темно, и потому трудно судить, красива лежащая там молодая женщина или просто хороша собой. По всей вероятности, она не спала: мало кто спит с открытыми глазами. Закрывает же она глаза, когда почти беззвучно отворилась дверь; тотчас изо рта у нее стало вырываться шумное ровное дыхание, иногда переходящее в легкий свист. Седовласый господин посмотрел на нее и, явно оставшись доволен, перевел взгляд на другую кровать. На этой кровати лежит мальчик, который отнюдь не притворяется, а сладко спит. В лунном свете ребенок похож на ангелочка из немецких сказок: розовые щечки, упавший на лоб локон. Gemütlich<sup>1</sup> до омерзения – можно было бы сказать, не будь это зрелище столь оча-

---

<sup>1</sup> Уютный, приятный (нем.). (Здесь и далее – прим. перев.)

ровательно. Старцу, похоже, увиденное в спальне понравилось, кажется, ему даже захотелось улыбнуться, однако с уверенностью сказать нельзя: месяц как раз спрятался за тучу, и уже ничего нельзя было разглядеть. Несомненно лишь одно: он тихо, как только мог, закрыл за собою дверь.

*Впервые в день рождения рядом никого нет. Подкосило меня, однако, одиночество – пожалуй, никогда раньше я так не радовался телефонным звонкам. Юлия к традиционной бутылке виски «Оубэн» присовокупила фотографию, которую я совершенно не помнил. На ней мне лет пятнадцать. Казалось бы, об этом подростке я знаю решительно все, но нет... Не уверен, смог ли бы я сегодня удержать его, чтобы он не свернул себе шею, ба, неизвестно даже, сумел ли бы разговаривать с ним, не опасаясь, что меня хватит кондрашка. Глядя на него, трудно поверить, что такой симпатичный мальчик умудрился попусту растратить большую часть отведенного человеку времени. Все это меня ужасно расстраивает, и, хотя намерения у Юлии были самые лучшие, я решаю на ближайшие три месяца вычеркнуть ее из состава семьи.*

Я сознательно обратился к дате 3 сентября в своем дневнике, чтобы доказать – прежде всего себе самому, – что даже вполне объективная запись может обойти суть дела. Не знаю, что меня удержало от упоминания о некоем телефонном разговоре. Наверное, то, что он не имел отношения ко дню рождения и я никоим образом не мог предвидеть его последствий. Кстати, перед тем мне приснился поезд. Сон был пустячный, даже глупый. Не успел я привыкнуть к размеренному стуку колес, как раздался крик: человек на рельсах! Потом скрежет, падающие с верхней полки чемоданы – такие тяжелые, что пришлось проснуться. У меня с детства были с этим проблемы: сплошь и рядом я продолжал видеть сон, уже придя в школу или – чаще – за ее пределами; вот и сейчас прошло не меньше минуты, пока я услышал телефонный звонок. Первая попытка взять трубку не могла увенчаться успехом; при второй я, по крайней мере, открыл глаза.

– Не разбудил? У нас есть общие знакомые. Ох, слишком долго перечислять. Поверьте, я не отниму у вас много времени. Нет, не бойтесь, я ничего не продаю. Напротив, приношу деньги. Простите, что тороплю... Через три часа? Буду как штык. – Такой примерно текст, и голос противный, тоненький. Почему же я, страдая от ужасной головной боли и сознания, что за три последних дня не написал и трех слов, согласился его принять? Может быть, подействовало прозвучавшее как небесная музыка упоминание о деньгах? Если я чего-то и опасался, так не столько потери времени, сколько перспективы выслушать банальную историю, после чего придется долго лечиться, а лечение губительно для печени. Знать бы, что меня ждет... Нет, честно говоря, не представляю, как бы я тогда поступил.

Было уже светло, когда поезд прибыл туда, куда должен был прибыть. Днем он выглядел хуже: не подсвеченный лунным мерцанием, оказался товарным составом, притом выдавшим виды и довольно грязным. Откуда же взялся салон-вагон? Ошибку следовало исключить: железнодорожники так сильно не ошибаются. Оставалась еще высшая необходимость: понадобилось срочно доставить в город важного сановника. Если седовласый господин мог быть премьером, он тем более мог быть министром транспорта, а столь высокое положение многое объясняло. Но почему в таком случае поезд не остановился на вокзале и вдоль перрона не выстроились вытянувшиеся в струнку чиновники из железнодорожного ведомства? А это был не только не вокзал, но даже не полустанок – скорее всего, фабричная платформа, на что указывали теснящиеся возле путей красные кирпичные склады и кипы хлопка, а прежде всего – лес труб, казалось упиравшихся в небо. Так что, если поезд доставил хлопок из экзотической страны, то в салон-вагоне сидел не министр, а промышленник, лично проверявший, как идут

дела в разных уголках света, а сейчас возвращающийся домой в сопровождении членов семьи, с которыми не пожелал расставаться. Хорошо, машинист был опытный и ночью не жалел пара – издалека надвигались большие косматые тучи, по-видимому дождевые, а хлопок дождя не любит. Но где же рабочие, обязанные выгрузить ценное сырье? Вечно голодные чрева фабрик ждали корма, который они потом вернут в виде тканей – таких чудесных, что вряд ли найдется женщина, которой не захочется себя ими украсить.

Однако не состав поезда и не мертвая тишина, его встретившая, были самыми удивительными. Спустя несколько минут из товарных вагонов вместо тюков хлопка посыпались люди – по законам физики столько народу там поместиться не могло, но, как вскоре выяснилось, одного сбоя в естественном порядке вещей оказалось достаточным, чтобы повлечь за собой следующие, еще более серьезные. Пока же женщины и мужчины, очень бедно одетые, выстроились в колонну и, поддерживая друг друга, двинулись в сторону фабричных стен. Неужели это рабочие, которых хозяин высмотрел где-то за тридевять земель и, соблазнив высокой зарплатой, уговорил у себя потрудиться? Если так, толку от них будет немного – крепкими они не выглядели. Но что с ним самим, неужто он лег лишь под утро и теперь крепко спит, не ведая, что поезд достиг своей цели?

Дверь салон-вагона наконец открылась, и в ней появился почтенный старец. Нисколько не заспанный – скорее всего, он вообще не ложился, до самого утра размышляя о делах, вряд ли понятных простому человеку. Твидовый пиджак, более светлого тона брюки, именуемые бриджами, и к ним высокие, до колен, сапоги, свидетельствующие о военной молодости либо страсти к охоте. На голове шляпа, в правой руке трость. Маленький чемоданчик в левой руке издалека кажется купленным в модном доме «Гермес» в Париже, хотя точно сказать трудно, да это и не важно. Если не очень ловко, то наверняка бодро, старец спустился по ступенькам и сразу зашагал вперед. Следом за ним вышла жена, которую до того почти не было видно, и лишь теперь можно оценить ее красоту. Изумительные волосы цвета зрелого каштана, светло-розовая кожа и маленький носик, явно чрезвычайно чувствительный к запахам. Ко всему этому ярко горящие угольки глаз. В своем скромном шелковом платье и более плотном жакете поверх него благородством облика она ничуть не уступала мужу, значительно превосходя его молодостью и обаянием. Странно было только, что красавица вынуждена тащить большой чемодан, который в любом уголке мира носильщики вырывали бы друг у друга. За родителями шел мальчик. При свете дня он уже не выглядел столь *gemütlich*, но все равно производил приятное впечатление. Для полноты картины следует упомянуть о некотором налете преждевременной зрелости, что довольно часто встречается у детей, окруженных опытными наставниками. У мальчугана не было никакого, даже маленького, чемоданчика, зато на спине был большой рюкзак, наподобие тех, какие скауты берут с собой в дальние походы.

Глава семьи шел, всем своим видом демонстрируя врожденную уверенность в себе, однако, приблизившись к стенам фабрики, замедлил шаг, а затем приостановился. Решимость будто его покинула, и это позволяет предположить, что он вовсе не владелец фабричного колосса, который так и хотелось сравнить с пирамидами или чем-нибудь не меньшего размера. Его жена, воспользовавшись случаем, поставила чемодан на землю, а сын, разинув рот, с явным изумлением озирался вокруг. Городу, который возвел такие мощные стены, стоило позавидовать – велико, должно быть, было могущество поступающих в его казну денег. О том, что это не изображенная на холсте огромная панорама, свидетельствовал ветер, гоняющий в воздухе клочки хлопка и бланки накладных. Хоть речь и не шла о живописи, можно было говорить о всепобеждающей силе искусства: издалека доносились звуки музыки, настолько прекрасной, что ноги сами несли в ту сторону. Старец крепче сжал рукоятку трости и, мотнув подбородком, указал, куда идти.

Путь был недолгим. В стене, из-за которой выглядывали пышные кроны деревьев, была гостеприимно открыта калитка – бережливые голландцы приняли бы ее за вход в парламент.

Сад за калиткой прилегал к внутреннему двору дворца, демонстрирующего огромное разнообразие стилей – не было, кажется, ни одной эпохи, из которой проектант не почерпнул бы чего-нибудь с отвагой человека, получающего солидное вознаграждение. Если владельцу этого импозантного здания принадлежали и фабричные цеха за стеной (а трудно предположить, что это не так), то, заметим, до места работы ему было недалеко. На террасе, охраняемой двумя каменными львами, у одного из которых от старости отвалилась голова, играл струнный квартет. Знаток сразу узнал бы Второй квартет Скарлатти, непривычное же ухо лишь улавливало приятную мелодию. Судя по тому, как истощены были музыканты – трое мужчин и женщина, – много они не зарабатывали, хотя вряд ли из-за скопидомства хозяина: отваливающаяся кое-где штукатурка позволяла предположить, что он просто уже не столь богат, как в прежние времена. Это свидетельствовало в его пользу: несмотря на трудности, человек не отказался от музыки. Занятые своим делом музыканты даже не взглянули на пришедших, да и те равнодушно прошли мимо, думая, вероятно, о том, как бы побыстрее поставить куда-нибудь вещи. Только мальчик на минутку задержался около первой скрипки (это была женщина), однако мать кивком позвала его, и он кинулся к стеклянной двери, ведущей в большой зал.

Зал этот когда-то, наверно, был роскошным салоном, откуда открывался вид на террасу, сад и, далее, радующие хозяйский взор фабричные цеха. Сейчас салон, похоже, служил вестибюлем гостиницы; там стояли кожаные кресла, деревянный буфет, пальма и старенький автомат для чистки обуви. Справа от красивой деревянной лестницы по-видимому, была столовая: оттуда доносилось звяканье раскладываемых на столах приборов. Если владелец империи обанкротился, то и устроенный в его доме отель явно не процветал. Главным постояльцем была вездесущая пыль, а желтая пальма невесть сколько не видела воды. Об обслуживании нечего и говорить: при появлении гостей даже муха не сорвалась с места. Хотелось надеяться, что создателя всего этого давно уже нет в живых, иначе, глядя на то, что осталось от бывшего великолепия, он бы скончался от горя.

Примерно так же оценил ситуацию почтенный старец. Он недовольно огляделся, а поскольку время шло, но никто не являлся, принялся стучать тростью по каменному полу. Трость тяжелая, без резинового наконечника, то есть шум был изрядный. Жена пыталась его успокоить, перепуганный сынишка заткнул уши, однако старец все делал правильно: немедленно раздался топот, и по лестнице в зал сбежали двое. Персонажи это второстепенные, но, по разным причинам, заслуживают внимания. Они не только не были похожи на гостиничных боев, но и, скажем прямо, не вызывали доверия. Один повыше ростом, другой пониже, маленький старше большого; роднило их нагло-панибратское высокомерие, едва замаскированное притворной почтительностью. Засаленные костюмы, прилизанные волосы, глаза, глядящие повсюду и никуда. Короче, от них попахивало лизолом, если не сказать серой. Высокий отвесил поклон, подхватил, точно перышко, чемодан женщины и через секунду уже поднимался по ступенькам. Тот, что постарше, низенький, украсивший унылую черноту костюма розовым галстуком, хмуро улыбнулся мальчику, поднял его вместе с рюкзаком и усадил к себе на закорки. Лишь сделав несколько шагов, он обернулся и учтиво взял у старика шляпу. А потом пальцем указал ему на лестницу.

Если в его устах «как штык» означало «пунктуально», он действительно пришел пунктуально, минута в минуту. Маленький, хилый, похожий на моего знакомого лебеда из излучины Одры, с которым я ежедневно переглядываюсь. Козлиная борода, загибающаяся книзу, а уж рукопожатие – будто твои пальцы обхватили бисквитный рулет. И, словно этого мало, темно-лиловый костюм из прикидывающейся шерстью синтетики и желтый галстук с немыслимыми геометрическими узорами. Видимо, чем-то я заслужил такое... Он же, мгновенно оценив ситуацию, бесцеремонно заявил:

– Вы не из тех, кто рад любому гостю. – Голос у него был еще тоньше, чем по телефону, но, к счастью, пищал он негромко.

– Для начала послушаю, что вы скажете, – ответил я. Потом осведомился, какой чай он предпочитает, и поставил перед ним чашку, не пролив ни капли. В награду он избавил меня от необходимости выслушивать пустые дежурные фразы.

– Скажу коротко: я – ваш благодетель.

Я пробормотал, что, если угодно, он может говорить долго, и даже пододвинул к нему сахар. Он, закинув ногу на ногу, удовлетворенно кивнул.

– В наше трудное время я приношу деньги, доставляю их прямо на дом, точно какой-то курьер. Однако благодетелем назвался прежде всего потому, что предлагаю вам пережить нечто такое, чего вы до смерти не забудете... Я понимаю, нехорошо говорить о смерти в доме больного, но вы уж меня простите, у простого человека что на уме, то и на языке... – Даже если он только сделал вид, что смутился, губу, как я заметил, прикусил по-настоящему. – Нет-нет, я вовсе не думаю, что вы вот-вот умрете, ни в коем случае, вы еще не на одной свадьбе попляшете... Горько! Горько! Знакомо вам такое? – Он внимательно на меня посмотрел. – Покороче, да? Что ж, скажу сразу: за солидную сумму, которая у меня с собой, вы вернетесь в свой любимый город, откуда сбежали. Не смотрите так, всего на несколько дней...

Я незаметно пригляделся к его пиджаку и штанинам. Больничная пижама ниоткуда не торчала.

– Вы меня ни с кем не перепутали? – спросил я, открывая ему путь к отступлению.

– Потому что сказал «любимый город»? Думаете, трудно заметить, что вы в своих книгах выбираете такие моменты, когда Лодзь выглядит наилучшим образом? Но вот что касается рабочих из вашего романа «Rien ne va plus», которые выбежали с фабрик на улицы, чтобы защищать евреев от черносотенцев, то, признайтесь: вы их выдумали?

Я кивнул, но тут же спросил, какое отношение это имеет к делу.

– Никакого, если не считать, что сильно пахнет «святой ложью», продиктованной любовью. Или это знаменитое «я плакал», когда растяпы из вашего «Поезда для путешествия» покидают Лодзь. Тут уж вы переборщили.

В пижаме или без пижамы, но он, конечно, ненормальный. Беда в том, что я притягиваю психов как магнит: под какими только предлогами они не пытались примоститься у меня на диване. Этот между тем, явно довольный собой, продолжал:

– А вот я, чтоб вы знали, никакой не lodzermensch<sup>2</sup>. И даже не потомок довоенных рабочих, которые, как вы любите подчеркивать, отличались куда большим достоинством и благородством, чем нынешние профессора. Матушка моя прибыла в Лодзь после войны, поскольку фабрикам требовались тысячи молодых женщин, чтобы прясть и ткать для Советского Союза. Она сразу же вытащила сюда отца, который быстро сделал карьеру, поскольку умел цветисто говорить. Однако жили мы не ахти как, хотя папаша уверял, что все дома в городе – наши... Теперь он уже на том свете, а меня матушка подкармливает на свою пенсию... Знаю, сейчас вы скажете, что я не дурак выпить, ну и что? Даже если... невелик грех. Впрочем, оставим эту тему...

Честное слово, вспоминая детство, он жалобно всхлипнул – вот это было уже чересчур. Я присмотрелся к нему повнимательнее. Туфли старые, но от Джона Лобба с Сент-Джеймс-стрит, к тому же тщательно начищенные. Здоровые зубы, ухоженные руки. Стало быть, он меня обманывает: костюм скромного чиновника, безобразный галстук и, прежде всего, речи – камуфляж. Но зачем задавать себе столько труда? Я улыбнулся своим мыслям.

– Вы подумали о Суворине, которого читали перед сном? Вспомнили его слова о человеке, любившем выдавать себя не за того, кем был? Я прав? А сейчас, позвольте, я немного

---

<sup>2</sup> Лодзерменш (нем.) – коренной житель Лодзи и окрестностей, лодзянин.

похвастаюсь... – Он набрал воздуха в легкие и задержал дыхание, отчего лицо его побагровело. Затем расслабил галстук и расстегнул воротничок, открывая золотую цепь на груди. И, будто этого было недостаточно, помахал у меня перед носом рукой с часами. – Вижу, вы сразу узнали. В мире таких всего триста штук. Экземпляр под номером один приобрела королева Дании Ингрид и перед смертью сдала в ихний ломбард. Через подставное лицо, естественно... Надеюсь, не надо говорить, какой номер у меня на руке?

Меня не удивили ни цепь, ни часы, ни даже его лицо, которое мало того что стало багровым, но еще и как будто отяжелело. А вот номер с Сувориным мне был непонятен. Последнее время я действительно иногда его почитывал, но ведь об этом никому не рассказывал. Так что одно из двух: либо я еще сплю, либо свихнулся. Первое отпадало, поскольку, едва он произнес фамилию «Суворин», я незаметно пару раз ущипнул себя за запястье. Заболело по-настоящему, выступила краснота. Значит, повредился умом.

– Не бойтесь, вы не свихнулись. Все очень просто: приоткрытая дверь в спальню и яркий солнечный свет. Там на ночном столике много книг, а на полу – только одна. Я предположил, что ее вы читали последней. Зрение у меня неплохое. Согласитесь, никакого волшебства...

– Почему вы прикидываетесь не тем, кто вы есть? – спросил я, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– А что вам за разница? У вас тоже никакой не грипп, а самое обычное похмелье. И еще я знаю, с кем вы пили в отсутствие жены, которая мотается по свету, добывая деньги на фильм о лодзинском гетто. Ба, я даже знаю, что вы пили. Но разве от этого что-либо меняется?

Ничего не менялось: я по-прежнему отчетливо его видел. Судя по выражению лица, он готов был заплакать, но в уголках рта затаилась хитрая усмешка. Только сейчас я заметил у него между большим и указательным пальцем след от вытравленной татуировки.

– Я намеренно представил себя с наихудшей стороны. Исключительно чтобы над вами поизмываться. Вначале горькая пилюля: приходится брать деньги от такого дрянного человечки; затем удивление: откуда такой тип знает то, о чем иные умники не имеют понятия; и, наконец, унижение: почему именно благодаря мне вам предстоит пережить нечто, никому больше недоступное. Ну что, я – подлец?

Стараясь говорить как можно суше и решительнее, я попросил его перейти к делу.

– Как вам будет угодно. Итак: вы представите мне отчет о некоем судебном процессе – и уж, будьте любезны, в письменном виде. Чего вы кривитесь? Предпочли бы собачьи бега? – Он достал из бокового кармана пиджака плотно набитый конверт и принялся им обмахиваться, однако, поглядев на мое лицо, поспешил добавить: – Знаю, вам очень хочется дать мне хорошего пинка под зад, но – ручаюсь – здравый смысл победит. А теперь послушайте. Я приехал из Бремена. Сiju перед вами в шляпчонке с пером, кожаных штанах на подтяжках и говорю с певучим тирольским акцентом.

– В Бремене так не говорят, – здраво заметил я.

– Это вы мне рассказывать? Я хотеть только уколоть ваше воображение. Ich bin брат Ганса Бибова<sup>3</sup>. Ясно, о ком я говорить? – На лице у него написано торжество: знает, что меня поразил! Я вежливо отвечаю, что он должен был бы тогда быть старше, – и вот тут началось: – А вы не слишком смелый быть? Я сам когда-то иметь Katzenjammer, потому что один раз злоупотребить шнапс. Крепкая немецкая голова тогда у меня болеть целых zwei Stunden. Но я вам скажу, Herr Andreas, что даже тогда мне не хватать отвага, чтобы знать alles о нашей немецкой живучести. Впрочем, я всегда выглядеть молодо, потому что хорошо питаться.

Мне хотелось, чтобы он уже ушел, поэтому я не стал спорить:

---

<sup>3</sup> Ганс Бибов (1902-1947) – немецкий бизнесмен, член НСДАП, руководитель службы экономики и продовольствия, а затем (с окт. 1940) – глава администрации лодзинского гетто. В 1947 г. Польским народным судом в Лодзи приговорен к смертной казни; повешен.

– Хорошо, вы – его брат. Ну и что с того?

– Вы наверняка знаете песню «Theo, wir fahren nach Lodz»<sup>4</sup>, и вас не заинтересовало, почему спустя столько лет Тео – это мое имя – приехал nach Polen?! Я признался, кто я такой, чтобы вы осознали, насколько все серьезно. Догадываетесь, кого будут судить? Ну же, напрягитесь...

У меня дико трещала голова, к тому же чертовски пересохло горло. Осторожно, чтобы не дрогнула рука, я взял бутылку с водой и, разумеется, немного пролил. Его, как ни странно, это обрадовало.

– Не волнуйтесь. Wasser высохнет, это в порядке вещей, главное, что вы уже знаете. Это typische реакция. Когда я узнал, чем дело пахнет, у меня началась икота. Жене пришлось меня напугать, тогда все стало fertig. Grosse восхищен, что вы так быстро понимаете. Вы, случайно, не родом из Schleswig-Holstein? Там приходится на свет неглупые люди... – Я не стал ждать, покуда Wasser высохнет, и, взяв салфетку, нагнулся, чтобы вытереть пол. Кровь с удвоенной силой ударила в голову, зато Тео не увидел выражения моего лица. Впрочем, ему это и не требовалось – он продолжал свое: – Вы уже понимаете, какое это деликатное дело. Кто мог думать, что они до него доберутся? Вас удивляет, что нас интересовать эта еврейская хуцпа?<sup>5</sup> А кто, как не мы, немцы, создать город Лодзь? Мы сюда прибыли первые, часто единственным багажом иметь работающие руки и головы поумнее ваших... Ненамного, конечно, но умнее. Я хорошо знаю, что такое корректность, не только политическая...

Я, не разгибаясь, поднял голову и посмотрел ему в глаза.

– Вы что, пытаетесь мне внушить, будто вся эта чушь – правда, а не плод вашего больного воображения?

Он приуныл.

– Хотите сказать, что это невозможно? Что после войны прошло уже столько лет... так вы считаете? Уж и не знаю, как вас переубедить. Хотя... если я скажу, что Бибов... что это всего лишь камуфляж?

– Я вам не поверю.

Он рассмеялся.

– А когда я признаюсь, что во мне есть еврейская кровь, поверите? В ваших краях в этом подозревают всех, кроме Иисуса и его матушки, так что и вам поверить будет нетрудно. Ну а раз евреи всё могут, почему у них сейчас не получится? Вы слышали про цадика из Бобовой? У его брата Езекиеля был сын, так вот этот сын – я, хотя и не очень религиозен. Вы разочарованы? И все же поверьте мне, я – человек уважаемый. Будь иначе, разве бы я обо всем этом узнал?

Мне захотелось спросить, уж не увижу ли я сейчас пейсы и черную шляпу, которой он не стал снимать, хотя в комнате тепло, но у него и без вопроса был готов ответ:

– Если вам это для чего-то нужно, можете увидеть даже, как я набрасываю на себя талес<sup>6</sup>. Чего не сделаешь, чтоб тебе поверили... Ну что, продолжаете считать меня психом?

Что бы я ни ответил, один из нас предстал бы в невыгодном свете.

– Если не ошибаюсь, у меня осталось еще немного «Оубэна». Давайте его допьем, а потом расстанемся. Навсегда. Я, со своей стороны, обещаю до конца года не притрагиваться к спиртному.

Он впервые улыбнулся.

– Эх вы, Фома Неверующий! Знаете, в чем главная ваша беда? Вы все пропускаете через разум. Я пообещал вам необычайное переживание, а сейчас добавлю, что вы еще много чего

---

<sup>4</sup> «Тео, мы едем в Лодзь» – известная песня немецкой певицы греческого происхождения Вики Леандрос (р. 1952).

<sup>5</sup> Дерзость, наглость (идиш). О хуцпе существует представление как об одной из черт национального характера – особой смелости, помогающей бороться с непредсказуемой судьбой.

<sup>6</sup> Талес (ивр.) – молитвенное покрывало, которое мужчины надевают на утреннюю молитву.

узнаете. Ну как, вас и это не устраивает? В таком случае вот мой последний аргумент. Через минуту меня здесь не будет, а вы пересчитаете деньги, которые я оставляю на столе. Даже если я ненормальный, купюры эти – нормальнее не бывает. Водяной знак и металлическая нить – сами можете убедиться. Ну что вам стоит порадовать выжившего из ума старого хрыча, коли уж он так потратился?

Это у него здорово получилось: без особых усилий он постарел лет на пятьдесят. Мутные глаза, отвисшая нижняя губа, темные пятна на лбу. Не знаю, способен ли был бы такому научить Ли Страсберг<sup>7</sup>, который освоил систему Станиславского. Даже если б купюры оказались еще более фальшивыми, чем этот, невесть откуда взявшийся тип, знакомство с ним того бы стоило. А он между тем встал и поправил несуществующие складки на брюках. Передо мной снова был смешной, слегка подозрительный человечек. Конверт, вероятно набитый обыкновенной писчей бумагой, лежал на столике.

– Ну, я пошел. Подробности на конверте. Пароль произносите отчетливо, охранник может быть глуховат. Ага, пожалуйста, наденьте пиджак. К людям, среди которых вы окажетесь, не помешает проявить капельку уважения.

Я проводил странного гостя до двери. На сей раз его рукопожатие было неожиданно крепким, а в глазах царил невозмутимое спокойствие. Впрочем, это могла быть и безбрежная – говоря красиво – печаль.

Регина не спала уже вторую ночь, если не считать тех недолгих минут, когда она переставала различать, что сон, а что явь. Куда девались немцы? Почему их троих ведут туда, где уже нет красной ковровой дорожки, а лестница стала узкой и крутой? Она тогда подумала, что Хаима вот-вот хватит удар – таким багровым его лицо не бывало даже во время приступов гнева. А как, вероятно, оно исказилось, когда один из подозрительных провожатых распахнул перед ним дверей и чуть ли не силой втолкнул внутрь! К счастью, с ней и мальчиком эти типы обошлись любезнее. Даже пожелали спокойной ночи, хотя до вечера было еще далеко. Она хотела спросить, когда будет ужин, но не успела оглянуться, как их и след простыл.

Комната была небольшая, без окна, освещенная только свисающей с потолка голой электрической лампочкой, но, слава богу, чистая, и туалет рядом, что напомнило ей довоенную родительскую квартиру на Полуднёвой. Лишь когда, тяжело дыша, она присела на один из двух стульев, до нее дошло, что ее вещи – в другом, более легком чемодане, который остался у Хаима. А значит, надо отнести ему тот, где у него всё, даже зимнее пальто на меху. Она подтащила чемодан к его двери, но дверь была заперта на ключ. Марек, видимо испугавшись, долго дергал за ручку – безрезультатно. Регина не знала, что ему сказать, от этого настроение окончательно испортилось, и она отчитала мальчика за то, что плохо почистил зубы. Полночи она провела гадая, куда их привезли; утешало одно: страшные рассказы про те места, куда отправляют обитателей гетто, как выяснилось, неправда. Почему-то ей стало неприятно, что Хаим опять оказался прав и все не так уж плохо. Потом ее долго мучила духота – она не выносила закрытых окон, а тут их не было вовсе... Наконец из коридора донеслись звуки, свидетельствующие о том, что наступило утро.

Марек быстро проснулся и в потемках прокрался к двери. Проверяет, не заперты ли мы, подумала Регина. Услышала, как он осторожно поворачивает ручку, но дверь приоткрылась, и в комнату из коридора ворвался свет. Мальчик обернулся – удостовериться, видит ли это она. Ей ничего не осталось, кроме как улыбнуться, показывая, что все в порядке.

Надежда на то, что теперь удастся расплатиться с долгами, постепенно вытесняла нежелание брать деньги за исполнение чьей-то прихоти; это к тому же свидетельствовало о слабо-

---

<sup>7</sup> Ли Страсберг (1901 – 1972) – американский режиссер и актер, руководитель школы актерского мастерства, обучение вел по своей методике на основе системы Станиславского.

сти характера – ведь я обещал себе задержаться во Вроцлаве. В своей сознательной жизни я провел тут в общей сложности часа два – пока поезда стояли на вокзале, – и сейчас, когда сбылась давнишняя мечта о том, чтобы поселиться в городе, где я родился, мне ничуть не хотелось отсюда срываться. Завтракая, я люблю реку за окном, а бродя по улицам, высматриваю тени родителей, которые когда-то, молодые и красивые, завершили здесь военные скитания. Недавно я узнал, что в нашей квартире на бывшей Борзигштрассе жил в детстве вроцлавянин Альфред Керр, влиятельный критик, соперник Томаса Манна, проигравший в борьбе за руку Кати Прингсхайм, – возможно, лишь потому он утверждал, что Манн «высживает» свои произведения. После него, что уже было нетрудно установить, в этой квартире жил советник Лотар Рабер, чей сын замерз где-то на Восточном фронте. Якобы он был пацифистом, что нас в некотором смысле сближало: один из моих предков тоже замерз не по своей воле, но в Сибири. Так неужели сейчас, когда я начал знакомиться с призраками этого города, безденежье и финансовый шантаж заставят меня отсюда убраться, пускай ненадолго?

Борясь с желанием заглянуть в конверт, я решил отправиться в редакцию популярного вроцлавского журнала «Рита Баум» и предложить им рассказ о любви, который собирался написать на канве сочиненного в детстве стихотворения. Но быстро я вряд ли его напишу: любовные стихотворения порой удаются и детям, а хороший рассказ о любви – редкая птица. За такими размышлениями я провел время до полудня, затем, как обычно, смотрел на реку, темно-темно-синюю, чему трудно было удивляться при полном отсутствии в тот день солнца. Проходя мимо стола, я отводил взгляд от конверта, и вдруг у меня родилась новая идея: а не начать ли распродавать книги, чтобы тем самым избежать отъезда. Букинисты, к которым я уже заглядывал, производили впечатление знатоков, а у одного я даже заметил листок с надписью «Не ходи к нам оценивать свои книги – мы сами к тебе придем». Впрочем, идею эту я отбросил, притом с отвращением, и, дабы подкрепить отвращение, отвесил себе звонкую пощечину. Ведь поступив так, я бы уподобился отцу, продающему почку – но не свою, а своего ребенка! Получившая заслуженную пощечину щека горела, а еще меня бросило в жар при мысли об электриках, которые, возможно, не очень начитаны, зато, в случае надобности, виртуозно отключают электричество. И я понял, что у меня есть лишь один выход: заработать деньги способом, оскорбительным для самого понятия свободы – и не только творческой.

Приняв наконец решение, я вздохнул с облегчением и ощутил желание жить. Действие, движение, поезда, перемещение людских масс... зарабатывать деньги, а потом их тратить – вот это образ жизни, достойный современного человека. Записывать слова, а в особенности фразы, не говоря уж о мыслях, – занятие скучное и мучительное. Идиотский энтузиазм должен был помочь мне забыть об унижении, а также отодвинуть на задний план страх перед неведомым. Имя Ганс Бибов прозвучало не случайно. Я мог даже заподозрить наличие заговора. Почему Бибов появляется в конце книги «Изгнанники» В. Г. Зебальда?<sup>8</sup> Неужели поездка в Лодзь связана с историей, о которой я уже давно запретил себе думать? На всякий случай я позвонил Юреку В., *lodzermensch*'у до мозга костей, который, еще совсем юным, был одним из ассистентов оператора на съемках «Земли обетованной»<sup>9</sup>. Как знать, что там со мной произойдет – пускай у меня будет свидетель.

– Хочешь принять участие в рискованном предприятии? В нашем, черт бы его побрал, городе? – Не знаю, почему я сказал «нашем», ведь Юрек, который, кстати, помогал мне переезжать, утверждал, что я это заслужил, как заключенный за примерное поведение.

– Рискованном? Всегда пожалуйста.

Если мне не почудилось, я уловил в его голосе облегчение.

---

<sup>8</sup> Винфрид Георг Зебальд (1944–2001) – немецкий прозаик, литературовед, эссеист; в его художественных произведениях тесно переплетаются вымысел и документ; с 1970 г. жил в Великобритании.

<sup>9</sup> Фильм Анджея Вайды по роману Владислава Реймонта, действие которого происходит в Лодзи в 80-е гг. XIX в.

Завтрак был скромный, но обильный, вроде тех, что подают в больших, сверкающих белизной столовых пансионатов в Крынице, которые ей были хорошо знакомы. Однако от запаха белого хлеба кружилась голова, и Регина не могла вспомнить, где и когда в последний раз так завтракала. Намазав маленький ломтик творожком, она осторожно повернула голову в сторону сидевшего у окна мужчины, который учтиво поклонился ей, когда она входила. На прежнем месте мужчины уже не было – вероятно, вышел, воспользовавшись дверью возле стоявшего на небольшом возвышении белого рояля. Жаль – хотелось получше его разглядеть: хоть она готова была поклясться, что видит этого человека впервые, что-то ей показалось знакомым. Нездоровая бледность, темные круги под пустыми, без выражения, глазами. Не будь на нем вполне приличного костюма, можно было подумать, сбежал из больницы или из тюрьмы. Вряд ли это кто-то из ее довоенных клиентов: она бы не считалась будущей звездой адвокатуры, если б ее подзащитные получали большие сроки. И все-таки почему она не перестает о нем думать, почему невольно сглотнула, увидев у него на шее грязную повязку? Должно быть, просто перенервничала из-за того, как обошлись с Хаимом, объяснила она себе.

Утром Марек сбежал в его уже не запертую комнату, но не нашел даже коротенькой записочки. Чтобы приободриться, Регина выставила Хаимов чемодан в коридор, а из своего, который перенесла к себе, достала самое красивое платье из розового органди. Зеркальце над умывальником было размером с почтовую открытку, в нем трудно было что-либо увидеть, но она знала, что выглядит хорошо. Потом в дверь просунулась голова уборщицы, и хриплый голос спросил: «Почему не идете завтракать?» Марек, прихватив книжку, немедленно направился к двери. В столовую они пришли последними: там уже никого не было, если не считать человека, который ей кого-то напоминал и который незаметно ушел. Регина всячески старалась затянуть завтрак: пока она тут сидела и ела, все казалось простым и понятным. Марек тоже чувствовал, что не надо спешить, и ковырялся ложечкой в пустой скорлупе яйца, уткнувшись в книгу, хотя ему уже несколько раз было сказано, что за столом не читают. Притворялся, будто читает, он лишь для того, чтобы протянуть время, однако Регина не была б Региной, если бы не сказала:

– Поторопись-ка.

– А что будет, когда я поем? – оторвался он от книги.

– Увидишь.

Марек раздавил ложечкой скорлупу и отодвинул тарелку и книжку.

– Поел.

– Вытри рот.

Вытирал он долго, но, в конце концов, салфетку пришлось отложить.

– И что теперь?

Она бы дорого дала, чтобы знать. Возвращаться в комнату не хотелось, ожидание там было бы вдвойне мучительным. В столовую вошли несколько молоденьких официанток – по видимому, практикантки – и принялись убирать со столов и менять скатерти. Не обращая внимания на сидящих, они громко переговаривались и даже весело смеялись. Регина встала; Марек тоже вскочил. Первой мыслью было: не выйти ли, будто по ошибке, через другую дверь, но врожденный здравый смысл подсказал, что безопаснее всего расположиться в вестибюле под пальмой, делая вид, будто для этого есть веские основания.

– Может, желаете повидаться с супругом?

Откуда-то появился один из двух вчерашних провожатых. Ярко-розовый галстук он сегодня сменил на более спокойный, хотя все равно бело-черные треугольники издали привлекали взгляд. И выражение лица изменилось: вероятно, ему самому оно казалось дружеским.

– Что за вопрос?! – Регина невольно расправила плечи, а голос ее зазвучал как голос актрисы Пшибылко-Потоцкой в роли Марии Стюарт. Но сама она отчета себе в этом не отдавала и потому не заметила восхищения в глазах посланца, кем бы он ни был.

– В таком случае попрошу за мной.

Никогда раньше она этого не делала, но сейчас взяла Марека за руку, и они поспешили вслед за быстро шагавшим мужчиной. Миновав лестницу, через распашную дверь (их спутник услужливо придержал одну створку) вошли в длинный коридор, или, скорее, зал, до потолка обшитый дубовыми панелями. В старые добрые времена хозяин дома, вероятно, демонстрировал здесь свою любовь к искусству: на стенах осталось еще несколько картин в пышных тяжелых рамах. На картинах были нарисованы лошади и наездники в разноцветных куртках: подкручивая ус, они улыбались дамам, подававшим им кубки с вином. Мареку это так понравилось, что он несколько раз подпрыгнул, изображая коня на скаку.

В конце зала мужчина внезапно остановился, словно заинтересовавшись сценой охоты на лис. Если б не круглая фарфоровая ручка, даже острый глаз вряд ли заметил бы очертания двери в дубовой стене. Регина едва успела подумать, что там, наверно, чулан, где хранятся половые щетки, как проводник уже открывал дверь, подобострастно приглашая их внутрь. Впереди была темнота; неудивительно, что Регина попятилась. Провожатый, удовлетворенный такой реакцией, усмехнулся и первый вошел в тайник, действительно служивший кладовкой: когда минуту спустя зажегся свет, оказалось, что там висят два фартука и стоит ведро. Видя, что Регина не двигается с места, мужчина указал на дверь в противоположной стене, жестом давая понять, что откроется она, только если все войдут внутрь. Когда наконец Регина с мальчиком к нему присоединились, он открыл эту дверь, и на них повеяло свежим воздухом. За дверью был коридор, непохожий на первый, высокий, даже монументальный; Регине нравился такой стиль, когда форма соответствует назначению, а в основе деталей лежат геометрические фигуры. Она изо всех сил старалась не показывать, как ее удивляют и этот тайник в стене, и странная архитектура всего здания. Подумала только, что, пожалуй, их проводник хотел произвести наилучшее впечатление и подобрал галстук, соответствующий именно этому помещению. Ему, разумеется, ничего не сказала – не хватало еще, чтобы знал, что вообще обратила на это внимание.

Они поднимались по широкой лестнице. Сверху доносился гул голосов. В конце коридора перед большой дверью толпились люди. Вновь пришедшие были замечены: несколько мужчин сразу направились к ним, а один, с фотоаппаратом, даже сверкнул магниевой вспышкой. Регину это не смутило, она только гордо вскинула подбородок (и сейчас могла выглядеть как Сара Бернар в «Орленке»), однако Марека, который, как ей показалось, испугался, заслонила от любопытных взглядов. Провожатый, опередив их, прокладывал путь, а приблизившись к двери, открыл ее и с поклоном пропустил обоих внутрь. Они очутились в зале, где было довольно светло, хотя свет туда проникал только через ряд круглых окошек под потолком. Вероятно, это была аудитория, в которой профессора делились своими знаниями со студентами, о чем свидетельствовала вертикальная передвижная доска, в верхней части мелом исписанная непонятными физическими формулами. Стоящая в центре кафедра, впрочем, вид имела весьма необычный – это был довольно красивый карточный стол с отверстиями по углам, куда были вставлены медные пепельницы. К счастью, пустые – Марека не переносил табачного дыма. В зале на стульях сидели люди разного возраста, но отнюдь не научного вида. Многих Регина узнала и поняла, что платье из розового органди тут совершенно не ко двору. Провожатый подвел ее и Марека к двум свободным местам – можно было б сказать, в первом ряду, если бы не несколько стульев перед самым столом. На одном сидел Хаим – трудно было не узнать его седую шевелюру. Регину всегда восхищало инстинктивное умение мужа мгновенно определять недоброжелателей, на этот же раз она поразилась, каким чудом, сидя спиной к залу, он догадался, что они вошли. А он догадался – иначе не повернул бы головы именно в эту

минуту, чтобы смерить их, а заодно и всех остальных пристальным взглядом. Под обстрелом его глаз собравшиеся в зале, до сих пор негромко переговаривавшиеся, разом замолчали, и в тишине Регина услышала стук собственного сердца. Тип, который их привел, поклонился и торопливо вышел.

В дневнике 5 сентября я записываю:

*О какой можно говорить мизантропии и эскапизме, если я с утра корплю над письмом крупному немецкому продюсеру по поводу фильма о западноевропейских евреях, переселенных в лодзинское гетто. На ходу придумываю шутку: «В лодзинском гетто на одном квадратном метре можно обнаружить больше, чем где бы то ни было, лауреатов Нобелевской премии» – и прошу обратить внимание, с каким уважением прибывшие в Лодзь профессора относились к наградам, полученным от соотечественников продюсера: «Многие, веря в немецкую благодарность, носили на лацканах немецкие ордена времен Первой мировой войны, а в сердцах – убежденность в том, что хоть цивилизованные немцы и больны, но ведь болезни рано или поздно проходят».*

*Вечером нахожу в «Евреях и немцах» Гершома Шолема описание начала эмансипации немецких евреев. «Когда полчища евреев выбрались из своего средневековья и вступили в новую эпоху просвещения и революций, большая их часть – четыре пятых тогдашнего еврейства – проживала в Германии, Австро-Венгерской империи и Восточной Европе. Таким образом, благодаря географическим, политическим и языковым условиям в первую очередь они соприкоснулись с немецкой культурой. Больше того – что имеет решающее значение, – произошло это в один из самых плодотворных переломных моментов в истории этой культуры». Шолем считает, что самим евреям редко приносили пользу таланты способнейших из них, поскольку большинство выдающихся еврейских умов служили немецкому обществу. Результаты поразительного взрыва их продуктивности оцутимы в литературе, науке и искусстве. «Почти все важнейшие исследования творчества Гёте принадлежат евреям».*

*Думаю, немцам, нации героической (как в хорошем, так и в плохом смысле слова), хотелось бы (и это понятно), чтоб теперь им помнили только добро. Но если они сами не прикончат зло колом иронии, если не высмеют его в самих себе, то баховские, гётевские, бетховенские котурны, на которых они стоят с заслуженной гордостью, могут не выдержать их тяжести. Об этом, впрочем, трудно говорить, когда принадлежишь к народу, который свой собственный, тонкий, но хорошей формы каблучок ломает с обезоруживающей беспечностью.*

Как видите, в дневнике моем чего только нет! Я пишу о каком-то письме, рассуждаю о каких-то книгах, но ни словом не упоминаю о том, куда меня понесла нелегкая. Впору усомниться в собственной искренности – среди записей, например, ничего нет о путешествии, которое я совершил. А был ведь и вроцлавский Центральный вокзал, и очередь в кассу, в которой разгорелся скандал, и поезд, который тащился шесть часов двадцать минут. Утешает лишь то, что я плохо помню подробности. Калиский вокзал в Лодзи красивее не стал, но, поскольку мне ужасно хотелось чем-нибудь порадовать взгляд, я сосредоточил внимание на красоте киоскерше и несколько раз мысленно повторил, что в других городах таких киоскерш нет. И даже в это поверил. Когда Юрек вошел в вонючий (но не так чтобы очень сильно) зал ожидания, его немедленно обступили несколько нищих. Он не стал отгонять попрошайек – шел, словно бы вовсе их не замечая. Ничто не могло меня порадовать больше, чем вид этого горделиво ступающего великана, который любил называть себя лодзинским аборигеном и был таковым среди полумиллионной армии иммигрантов из окрестных деревень. В отличие от меня, Юрек остался аборигеном, хранящим верность бумерангу. «Я умру в доме, который построил мой дед», – говаривал он, что в Лодзи звучало так, будто мой друг – потомок Радзивиллов.

В доказательство того, что дело серьезное, я еще на паркинге показал Юреку конверт. Он прикинул на глаз, сколько там денег, и тронулся с места, не дожидаясь, пока загорится

зеленый свет. Я сразу понял, что он изнывал от скуки и готов присоединиться ко мне, что бы я ни затеял. Однако Юрек не был бы собой, если б не повез меня известным путем и не поглядывал на меня краем глаза, когда мы проезжали мимо дома, в котором я еще недавно жил. Вероятно, рассчитывал услышать мой тяжкий вздох, но к этому я пока не был готов. Кажется, своей сдержанностью я его обидел – он тут же вспомнил, что времени у него в обрез: часа три, максимум четыре.

– Вечером я должен ехать в Сосновец, а до того Аня приглашает тебя к нам пообедать.

Около бывшей Морской палаты он вдруг спросил, не знаю ли, что случилось после войны с Александром Чечоттом, автором барельефов на здании суда и Морской палаты. Не повезло моему другу: я не только это знал, но и добавил пару слов о первой жене Чечотта, немке, замученной в Аушвице, и о второй жене, тоже немке, дочке коменданта лагеря в Радогоще<sup>10</sup>. Эту неудачу Юрек принял с достоинством, но я не сомневался, что следующий удар будет сильнее. И вправду: зевнув, он как бы нехотя сообщил, что слышал кое-что о Павле Леви. Этого я не ждал. Мне давно хотелось узнать, как сложилась судьба молодого талантливого архитектора, который незадолго до войны спроектировал самое красивое здание в городе. После войны этот великолепный дом, хорошо видный из моих окон, попал в руки литераторов и впоследствии был описан во многих воспоминаниях. Одним из первых в нем поселился Ян Котт. Он вспоминает, как выбрасывал через окно мебель из спальни и как они с подружкой примерно раз в неделю перемещались из комнаты в комнату. Когда у них становилось невыносимо грязно, закрывали комнату на ключ и перебирались в соседнюю, а когда комнаты заканчивались – в другую квартиру и для уборки вызывали немок из трудового лагеря. Все, кто там потом жил – а люди это были незаурядные, – относились к дому так, будто до войны Польша не существовала... Павел Леви исчез в 1939 году, а в документации еще не достроенного здания на улице Бандурского появилась печать прораба инженера Смолика. Успел ли Павел (мне почему-то хочется называть его по имени) уехать за границу или, быть может, решил, что ему будет легче в варшавском гетто? Юрек пытался говорить равнодушным тоном, но у него это плохо получалось.

– Я о нем много чего узнал! Познакомился с пани Буби, бабушкой Петра Щербица, ох и женщина, скажу я тебе! В сентябре стукнуло сто лет, а память лучше, чем у меня. Они с мужем жили в шикарной однокомнатной квартире, платили сто двадцать пять злотых, а когда у них должен был родиться ребенок, отправились в самый красивый на ту пору дом, чтобы снять что-нибудь побольше. И там встретили архитектора, который этот дом проектировал. Оказалось, что Павел Леви учился с мужем пани Буби в школе. Потом они втроем поужинали в «Табарине». Знаешь, на Дзельной... – Юрек никогда не употреблял современных названий улицы, даже межвоенные, казалось, застревают у него в горле. – Знал бы ты про существование пани Буби, ни за что б не уехал из Лодзи. Она помнит даже, что они в тот вечер ели... Вот так-то, старик... мне известно не только, что случилось с твоим архитектором, у меня есть даже фото кухонной мебели, которую он спроектировал специально для пани Буби. Эта мебель потом стояла в квартире, которая после войны досталась Зофье Налковской...

Я уже хотел спросить, нет ли у него с собой этого фото, но мы как раз въехали в короткую улочку, указанную на конверте. Самые внушительные строения в том районе – фабрика и дворец<sup>11</sup> – когда-то принадлежали семейству, один из членов которого был неплохим теннисистом. Играл он, правда, не так хорошо, как братья Столяровы, но был победителем двух турниров на Лазурном Берегу, а в историю Лодзи вошел как человек, первым в Польше купивший картину Пикассо. Про двух мужчин, которые ему картину продали, я знал немало и даже их

---

<sup>10</sup> Радогощ (Радегаст) – район Лодзи, где в годы немецкой оккупации была тюрьма и лагерь, откуда заключенных вывозили в концлагерь и на массовые экзекуции в лесах под Лодзью.

<sup>11</sup> Речь идет о мануфактуре и дворце, принадлежавших знаменитой семье лодзинских фабрикантов Познанских.

описал, но это к нашему рассказу отношения не имеет. Размножившиеся потом склады куда-то переехали, а от парковавшихся там машин осталась только одна, да и то полусгоревшая, шина. Никто ничего не охранял – тем больших похвал заслуживают сборщики металлолома. Они унесли лишь половину рельсов от ведущих на фабрику путей, по которым когда-то привозили из разных стран сырье, а затем развозили по миру готовые изделия. Должно быть, бедолаги верили, что здесь еще появится поезд и ухитрится проехать по оставшимся рельсам.

Дом номер семнадцать выглядел не ахти как. Некогда величественный – все-таки соседствовал с дворцом, – сейчас он напоминал известного адвоката, который на глазах всего города скатывался на дно: в последние годы жизни его узнавали по сопутствующей ему своре собак и вечно расстегнутой ширинке. Мутные окна, вездесущая серость, дождевые потеки до второго этажа, словом, домина был мертв, как и вся округа. Насколько помню, дольше всего продержались какие-то конторы и амбулатория, а во дворце рядом – то ли детский сад, то ли ясли. Не знаю, зачем я так подробно это описываю, возможно, исключительно ради того, чтобы отвлечь собственное внимание от двери, скорее всего запертой на ключ, но... для порядка надо все же ее подергать. Дверь, однако, оказалась не заперта и даже не заскрипела.

В небольшом зале с зеленоватыми панелями и расставленными вдоль стен стульями, над которыми висела витрина с брошюрами, предостерегающими от нездорового образа жизни. Открытой дверью воспользовались несколько мух, немедленно улетевших – по-видимому, на Пётрковскую<sup>12</sup>. Помню, со страху я решил посвятить им короткий рассказ или стихотворение в прозе. Юрек был явно разочарован, да и неудивительно: мы с ним таких помещений нагляделись. Теперь можно со спокойной совестью возвращаться во Вроцлав, подумал я, но тут невесть откуда появилась женщина в темном рабочем халате, рядом с которой Юрек казался крохой. Ее хотелось бы назвать монстром, подрабатывающим на ринге к своей основной зарплате уборщицы, если бы не лицо – нисколько не страшное, пожалуй, даже красивое – и аккуратно завитые светлые волосы. Приблизившись, она принялась нас разглядывать, словно в микроскоп, – ни дать ни взять учительница биологии. Я мысленно похвалил себя за сообразительность: великанша, видимо, недавно закончила бой – под левым глазом у нее красовался сине-зеленый синяк.

– У меня тут пароль... – Конечно, я боялся показаться смешным, но, подсовывая ей под нос конверт, успокаивал совесть: я выполнил все данные мною обязательства. Она ничуть не удивилась.

– Так я и знала. Сильно опаздываешь... А второй – это еще кто? Пропуск только на одного.

Не знаю, почему мне пришел в голову такой ответ, возможно, очень уж тут не понравилось или появилось привычное желание дать деру, но я сказал:

– Нас двое, а если не оставили второго пропуска, то, с вашего позволения, мы откланяемся.

Неожиданно она улыбнулась, притом весьма обаятельно, и даже вроде бы подмигнула Юреку подбитым глазом. Я понял: пути назад нет.

Четыре прожитых в гетто года научили Регину ничему не удивляться, однако то, что происходило в зале суда, ее потрясло. Скорее уж можно было ждать побоев, но присутствовать при оскорбительных расспросах человека, за которого рискнула выйти замуж... Она впервые услышала, что у Хаима есть еще второе имя – Мордехай. Раньше она этого не знала: в гетто он сам проводил церемонии бракосочетания, а их обвенчать поручил раввину, который демонстративно именовал жениха господин председатель. За что, кстати, был наказан: его не пригласили на ужин, лишив возможности досыта поесть. Ей долго не хотелось верить, что она присутствует

---

<sup>12</sup> Главная улица Лодзи протяженностью около 4 км.

на настоящем суде, пока не появился человек, на которого достаточно было взглянуть, чтобы понять: это очень важная персона. Ни тоги, ни каких-либо еще атрибутов власти – однако разговоры в зале мгновенно смолкли. Человека, державшегося с таким достоинством, ей еще видеть не доводилось, хотя однажды она стояла в двух шагах от самого Гордона Крэга<sup>13</sup>, а на вокзале в Варшаве случайно столкнулась с цади́ком<sup>14</sup> из Гуры Кальварии. Впечатления ничуть не портил ни перелицованный – как она заметила – пиджак, ни то, что перед тем, как сесть за карточный столик, он подложил деревяшку под ножку стула. Даже сидя он выглядел выше всех присутствующих, а ведь это явно был обман зрения. Грива седых волос красиво переходила в седую же бороду, а глаза под кустистыми бровями глядели то грозно, то добродушно, но чаще всего взгляд был безразличным, будто судья исполнял свои обязанности без особой охоты.

Регина почувствовала, что у нее вспотели ладони, искала в сумке платок и заодно посмотрела на мальчика, который сидел, затаив дыхание. Захотелось приласкать его, подбодрить, но вниманием ее завладел человек, взявшийся – по долгу службы, а может, по убеждениям – защищать Хаима. Молодой полный блондин с нездоровым румянцем, в тесноватой, явно с чужого плеча тужурке. Он почтительно поздоровался с мужем, пододвинул поближе к нему свой стул. С виду защитник казался недотепой, но Регина слишком хорошо разбиралась в людях, чтобы не понять: виной тому комплекция, по складу характера он вполне может быть голодным хищником. Такой, дай ему шанс, все сделает, чтобы прославиться, подумала она, приметив, как он нервно потирает ладони. Хаим, правда, пожал ему руку подчеркнуто снисходительно, но и без того у защитника были все основания для волнения. Уже первые произнесенные им слова подтвердили ее предположение. Он явно не собирался быть на процессе статистом.

– Я чрезвычайно рад, что мы наконец переходим к конкретике: расспросы о детстве человека, который заслуживает сравнения с Моисеем, смахивали на фарс, а дело требует от нас самого серьезного отношения.

В зале раздались возмущенные возгласы, кто-то даже пронзительно свистнул, однако достаточно было судье нахмурить брови, как все стихло.

– Господин Борнштайн, как раз ваше сравнение пахнет фарсом. Попрошу впредь думать, что говорите...

Так она узнала фамилию защитника. А вот безразличие, с которым судья его одернул, – она бы голову дала на отсечение, что седовласый старец мыслями где-то далеко, – ее удивило.

– Больше это не повторится, ваша честь. – Борнштайн поклонился, успев, однако, перед тем подмигнуть сидящим в зале. – А теперь будет ли мне позволено зачитать документ, который я приготовил?

– У вас широкие полномочия, господин адвокат. – Судья подпер кулаком щеку и закрыл глаза, будто давая понять, что весь обратился в слух.

– Пусть даже это покажется панегириком, но я не могу не вспомнить о довоенных заслугах господина председателя. – Защитник, вероятно, был близорук, поскольку поднес листок бумаги прямо к глазам. – Это письмо от Якуба Шульмана, который познакомился с господином председателем вскоре после Первой мировой войны, когда тот занимался организацией лагерей для молодежи. Его энтузиазм произвел тогда на Шульмана огромное впечатление. В тридцатые годы господин председатель основал и возглавил сиротский приют. Казалось, его энергия неисчерпаема. По ночам, когда все уже давно спали, он, будто его организм не нуждался в отдыхе, еще работал. Заложил экспериментальную ферму: дети учились работать на земле – это умение потребовалось бы им в Палестине. Откуда мог, добывал деньги для своих подопечных. Что только для этого не делал: и издателем становился – выпускал журнал «Сирота»,

---

<sup>13</sup> Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) – английский актер, театральный и оперный режиссер, художник.

<sup>14</sup> Цадик – праведник (ивр.); у хасидов – титул духовного вождя общины, наставника.

и сельскохозяйственным работником, но, главное, был превосходным педагогом. И хотя трудился не покладая рук, его материальное положение было далеко не блестящим. Все средства уходило на приют, который стал лучшим в Лодзи, а вскоре и прославился на всю Польшу.

Только теперь Регина заметила, что Борнштайн в основном обращается к группе людей, сидящих справа, на слегка выдвинутых вперед стульях, – судя по всему, это были присяжные заседатели. Из учебников и фильмов ей было хорошо известно, сколь велико значение присяжных, но, когда в одном из них она узнала Аарона Витвицкого, у нее нервно задергалось веко. В гетто Витвицкий был апелляционным судьей и однажды отказался признать бесспорные аргументы, доказывающие невиновность ее подзащитного, обвиняемого в изнасиловании. Понятно было, что объективности от него не дождешься. Сидящие рядом с ним два раввина и цадик, кажется, терпеть не могли Хаима, хотя, возможно, признавали, как много он сделал добра. Один из них – а именно цадик, – явно рехнувшись, с криками бегал по Балуцкому рынку, однако никто не сомневался, что с ума он сошел не от голода.

Еще двоих-троих Регина знала довольно хорошо и уж никак не думала, что они согласятся выступить в роли присяжных, остальных же не знала даже в лицо, а это означало, что в гетто они особого веса не имели. Но больше всего ее удивило присутствие на скамье присяжных секретарши Хаима, вульгарной девицы из Ганновера, которая своим положением в гетто была обязана блестящему владению немецким – слушая ее, простые немцы буквально рты разевали. Коли уж ее включили в число присяжных... либо судья крайне наивен, либо настал конец света.

– Единственной наградой ему служило удовлетворение от честно исполняемого долга, – продолжал Борнштайн. – Господин председатель не получил хорошего образования – за плечами у него был всего-навсего хедер<sup>15</sup>, – но постоянно пополнял свои знания. За что только он не брался: пробовал себя в роли и фабриканта, и торговца, и даже страхового агента – к счастью для истории, безуспешно. Когда же убедился, что больше всего хорошего может сделать для сирот, решил изучить основы педагогики и отправился... как вы думаете куда? – Сделав паузу, защитник оглядел зал. – Совершенно верно, к самому доктору Корчаку...<sup>16</sup>

Регина знала, что подобные имена неизменно вызывают восторженную реакцию. По залу пронесся восхищенный шепоток, кто-то даже робко зааплодировал. Еще несколько таких примеров, подумала она, и Хаима вынесут отсюда на руках. Невольно погладила по голове Марка, который так засмотрелся на защитника, что даже этого не заметил – а должен был бы, она ведь не часто его ласкала.

– В детском доме, которым руководил Януш Корчак, господин председатель провел не одну неделю, овладевая его новаторскими методами. Дамы и господа, с глубоким волнением спешу сообщить, что доктор Корчак согласился встретиться с нами и поделиться своим мнением о Хаиме Румковском.

В зале бурно зааплодировали – на этот раз все, даже судья сдвинул ладони. Дверь открылась, и вошел мужчина – с большой лысиной, в поношенном пальто. В мгновение наступившей тишине он подошел к указанному ему месту за старым нотным пупитром и поклонился судье. Вид у него был нездоровый; остановившись, он оперся на палку – правда, тут же выпрямился.

– Приветствую вас от имени всех присутствующих, доктор, для меня это большая честь. – Борнштайн, похоже, был искренне взволнован. – Будьте любезны, расскажите о вашем общении с Мордехаем Хаимом Румковским.

– Признаться, я не помню подробностей. Дел у меня было по горло, а тогда приходило много желающих понаблюдать за нашей работой. Из того, что мне удалось запомнить... госпо-

<sup>15</sup> Еврейская религиозная начальная школа для мальчиков.

<sup>16</sup> Януш Корчак (настоящее имя Генрик Гольдшмит; 1878–1942) – педагог, писатель, врач и общественный деятель; отказавшись покинуть своих воспитанников из «Дома сирот» в варшавском гетто, был вместе с ними отправлен в Трехлинку.

дин Румковский проявлял большую любознательность и желание помочь. – Только при этих словах он посмотрел на Хаима и легонько ему кивнул. – Я бы назвал его образцовым активистом. Но близко мы с ним не общались – наши отношения не выходили за пределы круга педагогических проблем.

– А что его особенно интересовало?

– Его интересовало все. А особенно – идея детского самоуправления и то, что большую часть работ ребята выполняют сами. У нас, в отличие от других приютов, не было штатного персонала, однако чистота поддерживалась образцовая. Любые проступки рассматривал детский суд. Между воспитателями и детьми отношения были самыми наилучшими, а руководство заботилось о своих воспитанниках даже после того, как они покидали «Дом сирот». Господин Румковский записывал, расспрашивал – в основном моих сотрудников. Узнав спустя несколько лет, что он стал крупным чиновником и приезжает в Варшаву советовать Адаму Чернякову<sup>17</sup>, как руководить гетто, я понял, что он поднялся выше, чем можно было предположить. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать.

– Может быть, вы подарили господину председателю что-нибудь на память?

Доктор заметно удивился, однако, чуть помолчав, ответил:

– Да, припоминаю. Я дал ему свою книгу.

– А может, вы помните ее название?

– Вероятно, это был «Король Матиуш Первый».

Марек так и подскочил, а затем повернулся к Регине и показал на спрятанную за пазухой книжку. Она еще никогда не видела его таким взволнованным – хорошо, что мальчик хоть чему-то обрадовался.

– И вы были так любезны, что подписали книгу?

– Разумеется.

– Не помните, что именно вы написали?

– Простите, но я столько книг подписывал... – Корчак явно растерялся, и неудивительно: он имел полное право не помнить.

– И все же... надпись могла быть доброжелательной?

– Ну конечно. Иначе зачем было дарить книгу?

– Значит, можно считать, что в ваших обрывочных воспоминаниях Хаим Румковский предстает как фигура положительная?

Прежде чем ответить, Корчак на минуту задумался.

– Можно и так считать.

Борнштайн, как Регина и ждала, торжествующе воздел руки и выкрикнул:

– Благодарю вас, у меня больше нет вопросов.

Ну уж теперь, подумала Регина, им наверняка разрешат вернуться туда, откуда они были. Однако судья кивнул мужчине, которого она раньше не заметила. Тот вскочил, будто его ткнули шилом в зад. Высокий, истощенный, с редкими волосами, он производил впечатление человека, готового мстить за то, что в жизни ему недоставало любви. Регина вздрогнула: страшно было подумать, что от него можно услышать. Он же, будто прочитав ее мысли, посмотрел на нее – как ни странно, с симпатией. Так ей, во всяком случае, показалось.

– В гетто часто повторяли вашу шутку, доктор...

Голос у прокурора не был писклявым, как часто бывает у подобных типов, но и не гремел осуждающе. Обыкновенный баритон, похожий на голос Эмиля Яннинга в «Голубом ангеле».

---

<sup>17</sup> Адам Черняков (1880–1942) – инженер, в 1930-е гг. – сенатор Польши, в 1939-1942 гг. возглавлял юденрат варшавского гетто. Узнав о том, что нацисты планируют массовую депортацию евреев из гетто в лагерь уничтожения Трешлинка, покончил жизнь самоубийством.

– Говорят, вы шутливо называли себя вором, а на вопрос «почему?» отвечали, что с такой репутацией вам легче будет попасть в правление некоего сиротского приюта. Это правда?

– Иногда я позволял себе в такой манере выражать свое мнение.

– Иными словами, высказывали остроумное предположение, будто кое-кто занимается общественной и политической деятельностью корысти ради?

– Считайте, что остроумное, но – не предположение. Просто так оно и есть.

– Не сложилось ли у вас впечатления, что Румковский мог быть таким человеком? Неудачником, который брал на себя руководство приютами ради заработка, а главное – всеобщего уважения?

– Ни в коем случае. Повторяю: я увидел в нем образцового общественного деятеля. Быть может, не слишком широко мыслящего, но искреннего в своих намерениях. – Доктор прижал руку к сердцу, прося у Хаима прощения за свои слова, но Регина заметила: муж с такой силой сжал рукоятку трости, что у него побелели костяшки пальцев.

– Над могилой Адама Чернякова, покончившего с собой в Варшаве, вы сказали: «Господь возложил на тебя защиту достоинства твоего народа, а теперь ты вручаешь Богу душу вместе с даром защищать свой народ». Спустя два месяца вы отказались оставить приютских детей и вместе с ними вошли в вагон, который повез вас на смерть. А как вы думаете, о председателе Румковском в будущем кто-нибудь скажет доброе слово?

– Не мне об этом судить.

Прокурор низко поклонился:

– Благодарю вас. У меня больше нет вопросов.

Судья с трудом встал и вышел из-за своего столика. Обвинитель и защитник кинулись поднимать стул, который он при этом опрокинул. Выиграл первый: оказался проворнее, да и стоял ближе. Регина смотрела, как могучий седобородый старец подходит к едва держащемуся на ногах Корчаку и кладет ему руки на плечи, будто желая вдохнуть в него силы, а может быть, выразить свое глубочайшее уважение. Старый доктор тотчас выпрямился – ни дать ни взять офицер (он и был, как Регина слышала, майором) – и энергичным шагом направился к двери. В зале все поднялись; некоторые пытались хотя бы дотронуться до его пальто. Поддавшись всеобщему энтузиазму, Регина попробовала протолкнуться к нему, но тщетно: никто и не подумал посторониться и пропустить женщину. Когда она вернулась на место, соседний стул был пуст: Марек исчез. Регина посмотрела на мужнин затылок. Он был неподвижен и горд, если так можно сказать о затылке.

В суматохе ему удалось выйти из зала. Те, кто стоял в коридоре, тоже норовили протиснуться к доктору Корчаку, и на Марек никто не обращал внимания. Теперь можно было спокойно вынуть книгу из-за пазухи и приготовиться к атаке, словно мушкетеру перед встречей с гвардейцами. Двое рослых мужчин в пожарной форме, заслоняя доктора, пытались вывести его из толпы. Дело шло медленно; в конце концов один остановился, раскинув руки, а второй пошел с доктором дальше. Мундир вызывал уважение, и, хотя коридор был широкий, никто не осмеливался пересечь линию, обозначенную руками пожарного. Марек, подождав, пока доктор Корчак отойдет достаточно далеко, нырнул под руку охранника и припустил бегом. Он знал, что остановить его никому не удастся, и, вероятно, поэтому второй раз в жизни почувствовал себя счастливым. Миновав двух сидящих на скамейке женщин, у младшей из которых были изумительные рыжие волосы, он чуть не налетел на доктора, который приостановился, услышав, что за ним кто-то бежит. И даже улыбнулся, правда одними глазами, – но ведь улыбнулся, в этом не было сомнений. Марек вежливо поклонился и протянул книгу. Пожарный раскрыл рот, но не осмелился издать ни звука.

– Как тебя зовут? – Доктор полез во внутренний карман.

– Марек.

– А фамилия?

Мальчик заколебался, а доктор, не найдя ручки, недовольно посмотрел на пожарного:

– Найдется, чем писать, юноша?

Названный юношей пышноусый мужчина заметно смутился. Долго шарил по карманам, но вытащил только спички. Чтобы получить автограф, оставался только еще один шанс. Марек, снова поклонившись, указал на двух сидящих в коридоре женщин, и доктор одобрительно кивнул. Рыжеволосая оказалась очень догадливой: не успел Марек подбежать, а она уже доставала из высланного темно-зеленым бархатом футляра вечное перо. И протянула его Мареку – открытым и готовым к употреблению.

– Кто этот господин? – с улыбкой спросила вторая женщина – судя по возрасту и сходству, мать рыжей.

– Да это же Корчак! – крикнул Марек и побежал обратно, но в коридоре уже никого не было. Он не стал останавливаться, рассудив, что увидит доктора за поворотом, но и там было пусто. Книга лежала на батарее под окном; Марек взял ее и, уже не спеша, пошел дальше, по пути дергая все подряд дверные ручки, но двери были заперты. «Упорство часто бывает вознаграждено», – повторяла в приюте пани Альбинская и, как оказалось, была права: одна из дверей наконец открылась. Ни секунды не колеблясь, Марек вошел внутрь. Ничего интересного: деревянные кабинки и разбитый умывальник, над которым остался только след от зеркала. Но главное – высоко в стене было окно, за которым виднелись верхушки деревьев. Мареку ужасно захотелось выглянуть наружу. Не раздумывая, он пододвинул к стене мусорный ящик, однако даже с него, даже встав на цыпочки, мало что смог увидеть. И в очередной раз позавидовал Марысю Едвабу, умудрявшемуся с обезьяньей ловкостью взбираться туда, куда другим было не залезть. Марысь сейчас уже лежал бы себе, как кот, на узком подоконнике и посмеивался. Однако жаловаться не приходилось: Мареку все-таки виден был кусок мостовой, часть стены и два дерева. По цвету листвы он понял, что давно не было дождя, а еще заметил, что кирпичная стена во многих местах выщерблена. Ничего особенно интересного, но приятно была сама возможность заглянуть в открытое пространство. Вдобавок – верно, в награду за боль в икрах – под окном почти бесшумно проехал красный фургон, каких Марек раньше никогда не видел. Несколько секунд хватило, чтобы он успел убедиться, что это не пожарная машина – большие белые буквы на борту скорее указывали на цирк.

– Ты что делаешь в женской уборной?

Он оглянулся и увидел одного из двоих мужчин, встретивших их по приезде. Не того, который любит смешные галстуки и который нес его по лестнице на закорках, но Марек почему-то был уверен, что ему ничего не грозит. И рискнул ответить вопросом на вопрос:

– А вы?

– Я тут работаю.

Марек слез с ящика и с притворным удивлением огляделся. Мужчине это не понравилось, и он схватил его за шкуру, правда, немного. В коридоре уже не было ни рыжей девушки, ни ее матери, которая не узнала доктора Корчака. Вместо них Марек увидел двух подозрительного вида мужчин в сопровождении огромной, на голову выше их, женщины в халате. Однако внимание его привлекла не столько разница в росте, сколько наряд одного из мужчин: на нем был красный просторный свитер с буквами на груди и смешная кепка с козырьком, наподобие тех, в каких ездят жокеи. Теперь Марек уже не сомневался, что красная машина с надписью «Кола-Коала» или что-то в этом роде, принадлежит цирку и привезла клоунов, которые развлекают людей, когда им грустно и плохо. Впрочем, долго размышлять об этом не пришлось: они уже входили в зал. Мужчина повел его на прежнее место; за шкуру, правда, больше не держал. Мареку не хотелось злобствовать, но он не отказал себе в удовольствии иронической усмешкой дать понять сопровождающему, что здесь, похоже, каждый кого-нибудь боится. Тот

внимательно на него посмотрел и убедился, что в глазах у мальчика не только нет страха, но и вообще никаких чувств.

Нет, это уже становилось невыносимым. Можно подумать, свидетельство самого Януша Корчака ничего не значило! Регина вынуждена была признать, что высокомерие Хаима оправданно: он не заслужил такого обращения. И судья не вмешивался – когда адвокат передал ему слова своего подзащитного, сказал только:

– Разумеется, господин Румковский вправе отказаться от дачи показаний. Но ему следовало бы понимать, что так будет труднее защищаться.

И вот тут муж совершил ошибку – обозлившись, закричал срывающимся на фальцет голосом, даже не соизволив встать:

– Что значит труднее? Мне незачем защищаться! Я не знаю, кто вы такие и кто вам дал право судить меня или хотя бы перемывать мне косточки. И меня никто не заставит с вами разговаривать!

И, как всегда в приступе гнева, принялся стучать тростью об пол – до того сильно, что Регина почувствовала, как пол содрогается под ногами. Пронзительный голос Хаима обычно пугал людей – при его звуках хотелось провалиться сквозь землю, – но сейчас, к своему изумлению, она услышала в зале смех, нескрываемый смех. Судья тоже обратил на это внимание:

– Насколько мне известно, еще недавно никому не казалось смешным, что председатель от волнения повизгивает. Согласитесь: было бы странно, если б такой красивый мужчина не имел никаких недостатков...

– Лучше бы уж родился горбатым! – крикнули из зала.

– Господин Роте, я знаю, что здесь присутствует кто-то из родственников Зигмунта Фрейда. А также знаю, что в Вене вы часто их навещали.

– Комплексы могут стать причиной многих злодеяний! – воскликнул Роте, чрезвычайно довольный, что судья о нем наслышан. Регина отыскала его глазами и вспомнила, что они дважды встречались в гетто. Он привез с собой необыкновенно красивую трость – Хаим даже с улыбкой предложил ему поменяться. Роте отказался, притом на вечере, устроенном в честь Хаима!

– Ни слова больше, господин Роте, если не хотите, чтобы я вас тоже кое о чем спросил. – Судья усмехнулся и перевел взгляд на Румковского: – А вас попрошу держать нервы в узде. Что же касается права судить вас, оно у меня есть, не сомневайтесь. И, не хвалясь, замечу, что это право весомее любых других. Ну а насчет отказа с нами разговаривать – что ж, заставить мы вас не можем. Хотя... не сочтите за угрозу, но я и без того подумывал, не лишит ли вас слова. На ваше счастье, господин адвокат меня переубедил. Поэтому попрошу только подтвердить, что вы отказываетесь от дачи показаний. Коли уж намерены молчать – молчите, но и раздражение свое столь бурно не демонстрируйте... – Лицо судьи с каждым словом багровело. – И не повышайте голос: если это еще раз повторится, я вынужден буду принять меры... – Он так сильно ударил ладонью по карточному столику, что вставленные в углубления по краям столешницы маленькие латунные пепельницы высоко подпрыгнули. И, поднявшись, тяжело дыша прошелся взад-вперед по залу, пытаясь сдержать охватившую его ярость.

Воцарилась глубокая тишина – казалось, можно было бы услышать не только пролетающую муху, но и любое другое живое существо, принесенное сюда в складках одежды.

К счастью, прыгающие пепельницы произвели должное впечатление: Хаим сник – Регина это поняла по его низко опущенной голове. Она почувствовала, что кто-то гладит ее по руке. Марек, уже сидевший с ней рядом, вероятно, хотел ее подбодрить, и она не стала ругать его за то, что уходил без спросу.

– Мой клиент подтверждает свой отказ от дачи показаний и просит его извинить за нарушение порядка. Он целиком и полностью полагается на объективность и справедливость суда. – Борнштайн с облегчением вздохнул.

– Пусть не сомневается: так оно и будет. – Судья уже взял себя в руки. – Я лично об этом позабочусь. Справедливость гарантирована, а вот насчет объективности... тут всяко бывает. А теперь попрошу обвинение напомнить, для чего мы все здесь собрались – сдается, многие уже успели об этом забыть.

В зале его слова были восприняты как сигнал, что можно перевести дух и даже тихонько засмеяться. Прокурор встал и огляделся – Регине показалось, что он опять поискал ее взглядом.

– Благодаря защитнику, мы узнали, что старый доктор сделал Румковскому подарок. «Король Матиуш Первый», чудесная книжка. Я сам ее читал...

– Поистине знаменательное событие... – Борнштайн вроде бы пробурчал это себе под нос, но кое-кто в зале расслышал, а одна из женщин даже хихикнула.

– Еврейский народ никогда не теряет чувства юмора. – Прокурор, казалось, сам удивился, что не ответил наглещу похлеще. – Но... к делу. Человека, ради которого мы здесь собрались, называли король Хаим Первый. Вот этот убеленный сединами старик мог стать героем, прославляемым грядущими поколениями, а стал едва ли не самым противоречивым персонажем всемирной истории, перед которым меркнет другой небезызвестный правитель, царь Ирод. – Он сделал долгую паузу, устремив взгляд на скамью присяжных. – Мордехай Хаим Румковский создал в лодзинском гетто невольничье государство, поставлявшее немцам множество разных изделий, в том числе и для военных целей. Он был абсолютным монархом и действовал только так, как сам считал справедливым. Он возвышал одних за счет других. Лично подписывал приговоры тем, кто отказывался подчиняться немцам и нарушал установленные им правила. Мало того! Когда фашисты приступили к окончательному решению еврейского вопроса, то есть к уничтожению всех евреев в захваченных ими странах, он позволил отправить на смерть своих подданных. И не только позволил, но еще своим авторитетом и патетическими речами усыплял их бдительность. Пора уже королю Матиушу... прошу прощения, королю Хаиму... а правильнее Хаиму Грозному, поскольку чаще его именно так называли, отчитаться перед нами.

Вильский был так уверен в себе, что, сев, достал из кармана пилочку для ногтей и принялся ее крутить. Регину такое поведение возмутило; интересно, видит ли это судья? Но тот, даже если и видел, не сделал прокурору замечания. Борнштайн схватился за голову и, прежде чем что-либо сказать, прошелся между рядами, стараясь заглянуть в глаза сидящим поблизости.

– Невероятно, – сказал он наконец. – Не хочется верить, что в этом зале, где всем отлично известна суть дела, прозвучали слова не просто лживые, но и позорящие доброе имя человека, перед которым мы, евреи, навсегда останемся в неоплатном долгу. Позвольте, – он отвесил легкий поклон в сторону Румковского, – я буду называть подсудимого господин председатель. Могу безо всякого преувеличения сказать, что этот титул в гетто произносился с доверием и надеждой – так христиане в декабре говорят о святом Николае. Злые языки утверждают, что немцы назначили господина Румковского на самый высокий в гетто пост только из-за красивой и благородной внешности. Его в этом упрекают – как будто красота и благородство исключают гениальность...

Регина заметила, что конец трости Хаима все реже постукивает по полу.

– Да, только гений способен понять, что выжить в неволе может лишь тот, кто приносит пользу. Что делает господин председатель? В тщательно продуманной докладной записке немецким властям он предлагает организовать в гетто мастерские, благодаря чему оно станет самокупаемым. И, получив согласие, создает безупречно функционирующую общественную структуру. Кто-то может сказать: несправедливо управляемую. Да во всей истории не найти

более справедливой! Это – государственный капитализм: прибыль идет на содержание всего общества. Богач и бедняк работают на равных. Где, как не в лодзинском гетто, были больницы и сиротские приюты, царил порядок и была еда, тогда как в Варшаве от голода люди умирали на улицах? У нас имеется достаточно тому доказательств. А также не составит труда доказать, что именно благодаря гениальным идеям господина председателя наше гетто продолжало существовать, когда от всех прочих уже ничего не осталось. Если всякая война – смертоносная трясина, то я осмелюсь еще раз сравнить господина председателя с Моисеем, ведущим евреев через Красное море...

По рядам зрителей пролетел шумок, а судья погрозил защитнику пальцем.

– Знаю, он в этом не преуспел, – поспешил добавить Борнштайн. – Однако не будем забывать, что, если бы не стечение неблагоприятных обстоятельств – взять хотя бы остановку русских на Висле или неудачное покушение на Гитлера, – война закончилась бы раньше, и тогда уцелели бы еще по крайней мере семьдесят тысяч человек. Эти семьдесят тысяч теперь были бы должниками господина председателя. Судьба, правда, распорядилась иначе, и тем не менее мы у него в долгу...

Конец трости явно постукивал в ритме три четверти. Это означало, что Хаим доволен. Регина посмотрела на Марека: слушает ли тот, удостоверилась, что это так, и только тут заметила художника, который, по-видимому, рисовал ее мужа. Она подумала, что и это должно быть приятно Хаиму. Художник не принадлежал к числу известных в гетто, однако карандашом работал с немалой сноровкой.

– Из ваших слов я понял только, что, если бы Гитлер не пришел к власти, ваш председатель спас бы всех европейских евреев. Я не ошибся – такова главная линия защиты?

Обвинитель своим замечанием все испортил: по залу прокатилось веселое оживление. Если Регина кого-то и ненавидела, так это были Гитлер и прокурор Вильский.

Прочитав гороскоп из еженедельника «Ля Батай», вышедшего в свет третьего сентября почти сто лет назад, я в дневнике обозвал себя посредственностью, а внизу страницы добавил еще кое-что похуже. А ведь, посылая пожелтевшую вырезку, дочка хотела сделать мне приятное. Впрочем, гороскоп, хоть и сложный, казался разумным: *...в каббале буквой «коф» изображается дух Юпитера. Буква эта соотносится с 19 арканом – арканом планетарного Разума, Истины и Ослепительного Света. Числовое значение этой буквы 100, число солнца, символ индивидуальности, силы позитивного единства. Ему соответствуют радость жизни, экстаз, начало Великого Дела, Свет и Правда. Буква «тау», то есть планетарный дух солнца, соотносится с 22 арканом – арканом плодотворной деятельности и успеха. Ему соответствует всеобщее возрождение, Царство Божие на земле, великое посвящение, осуществление Великого Дела. Легко понять, что люди с такой хорошей основой ненавидят пошлость, не уступают занятым позиций, а их ремесло, будучи под знаком «трансформации», постоянно обновляется. Они добиваются блестящих успехов как реформаторы. Основой их жизни являются четыре слова: Знание, Воля, Отвага и Молчание.*

Чепуха, конечно, но подбадривает, особенно если учитывать, что во Вроцлаве я уже дважды общался с судебным исполнителем. На третий раз я, пожалуй, смогу ему кое-что рассказать о начале Великого Дела, о Свете, Истине и букве «тау» – пусть знает, с каким должником он имеет дело! Читаю дальше: *рожденные под знаком Девы, однако, по природе своей чужды финансовой деятельности, не имеют доступа к золоту, а игра, биржевые спекуляции, участие в надзорных органах, финансовые операции – не их стихия. Если они не примут этого во внимание, их неизбежно ждет полное разорение.* Прочитать подобное о себе, притом в качестве подарка ко дню рождения? Узнать об отсутствии перспектив в мире, который в большей мере, чем когда-либо, зиждется на деньгах? Если Магда подсунула мне гороскоп с намерением поддержать меня в трудную минуту, то за такую трогательную заботливость (не от меня уна-

следованную) я должен не позже октября отказать ей в отцовстве. Упомянув об этом, я доказываю прежде всего самому себе: всему, что я пишу в дневнике, с точки зрения правдивости – грош цена. В своей внутренней (возможно, более реальной) жизни я энергичен, находчив, практичен и, как многие другие, ради презренного металла готов исполнять чужие прихоти.

Великанша грациозно вписывалась в повороты, семенила мелкими шажками по прямой – явно, чтобы понравиться Юреку, на которого положила глаз с первой же минуты, словно почувствовав, что этому здоровенному мужику не по вкусу, как с такими бывает, маленькие женщины, зато возбуждают крупные формы, и он способен часами разглагольствовать о достоинствах стана обхватом в метр. Мы сворачивали то налево, то направо, поднимались и спускались по лестницам, часто всего на пол-этажа. Прошли через комнату, заставленную шкафами и письменными столами, нагроможденными один на другой, а потом через помещение, которое во времена процветания этого дома, видимо, служило кухней, о чем свидетельствовал каменный пол. Я старался не думать о том, что меня ждет в такой обстановке, и повторял как мантру, что грязный поезд, потерянное время и прогулка по запущенному зданию – всего лишь способ заработать на жизнь. Великанша, точно вожак стаи дельфинов, взяла очередной поворот, и мы вышли в широкий коридор, где клубились во множестве какие-то люди. Она подвела нас к толпе и жестом дала понять, что должна нас покинуть. На прощание указательным пальцем ткнула Юрека в область сердца и расплылась в улыбке. Юрек выдержал испытание, даже не пошатнувшись, но улыбка, похоже, его напугала.

Мы остались в коридоре одни, если не считать двух сотен людей, преимущественно в темной одежде, которые уставились на нас, точно на каких-то чудовищ, рожденных больным воображением. Любовь Юрека к шмоткам красного цвета была мне известна, но я не предполагал, что его наряд может произвести такое впечатление. К счастью, про нас быстро забыли – возможно, быстрее, чем хотелось бы моему другу, который, задав риторический вопрос: «Интересно, где они все припарковались?» – врвался в самую гущу толпы. Большинство в ней говорили по-польски и на идише, но слышался также немецкий и чешский. Не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться: это международная конференция, организованная согласно с правилами столь популярного нынче тотального участия. Интерактивность, обогащение самосознания, женщины, играющие роль мужчин, жертва, становящаяся палачом. Я однажды участвовал в подобном мероприятии. Профессор католического университета в Сиэтле, горячий поклонник Пиночета, читал сочиненное им самим завещание Сальвадора Альенде, роняя неподдельно мокрую слезу, а его супруга в соседнем зале преображалась в расшвырявшую полицейскую собаку и норовила вцепиться присутствующим в икры. Если и здесь разыгрывали спектакль такого рода – а все на это указывало, – то Роман Полански со своей пресловутой заикливостью на точности реалий при съемках «Пианиста» в подметки не годился организаторам. Они позаботились даже о воспроизведении кислотоватого запаха бедности, принесенного на одежде из густонаселенных домов, где нет канализации. Хотя, надо признать, в этом запахе чуть-чуть ощущалась (будто чтобы никого не обидеть) примесь «Шанели». Ошеломленный такой скрупулезностью, я попытался отыскать какие-нибудь промахи, но обнаружил только один – в облике державшегося в стороне пожилого мужчины. Он был одет вполне старомодно, но на плече у него висела сумка с надписью Lufthansa, лет на двадцать опережающая прочие детали костюма. Впрочем, это, похоже, не мешало принятым условностям: например, молодая девушка в берете, изображающая журналистку, спросила у него сладким голоском, знал ли он лично господина председателя. Получив ответ, что он не понимает, о ком речь, девушка явно ему не поверила.

– Но в гетто вы были?

Вот тут он удивился:

– Я же немец – как бы я мог там оказаться?

– Может, вы кого-нибудь застрелили? Случайно... – допытывалась она.

– Я нотариус, любое оружие мне отвратительно! Простите, я спешу. – И, поклонившись, торопливо отошел.

Нисколько не обескураженная журналистка перевела свой взор на меня. Однако, что мне понравилось, оказалась достаточно сообразительной – отведя взгляд, быстро нырнула в толпу.

Издали я увидел девушку, очень похожую на выдающуюся пианистку Стеллу Чайковскую. Это Стелла рассказывала мне, что Румковский, чтобы обеспечить работой недавних гимназисток, велел им записаться в полицию и преследовать детей, торгующих поддельными конфетами. Отказываться не имело смысла: все знали о судьбе судей, которые, чтобы не выносить смертных приговоров за торговлю в гетто, чего требовали немецкие власти, подали в отставку. Судью Вайскопфа немедленно послали вывозить фекалии, а знакомый ее отца, адвокат Вильгельм Мрувка, с первым же эшеленом отправился в никуда. Сходство красотки со Стеллой конечно же было случайным: если бы Стелла узнала, что одна из ее внучек участвует в подобной конференции, она бы наверняка позвонила мне из Стокгольма.

К счастью, освободилось место на одной из скамеек, расставленных у стен коридора. Я плюхнулся на скамейку и вытянул ноги, потому что у меня сильно болела поясница. И тут заметил сидящую неподалеку даму в габардиновом пальто и бархатной шляпке-чалме, которая с возмущением на меня воззрившись. По всей вероятности, она прибыла на конференцию из заокеанского университета, не побоявшись тягот путешествия, пролетела не одну тысячу километров и теперь выступает в роли особы, не ведающей, что такое политкорректность. На минуту я снова почувствовал себя истинным лодзянином и, чтобы вырвать у злобной бабы ядовитые зубы и позволить увезти из города приятные воспоминания, выпрямился и подобрал ноги. В награду из-за пожилой женщины высунула изумительную рыжеволосую голову ее дочка – сомнений в этом не было, настолько они были похожи, – и улыбнулась мне одними глазами. Я ответил ей полуулыбкой, но она, смутившись, отвернулась.

В зале стало душно. Регина вынула из сумки театральную программку, еще довоенную, и принялась ею обмахиваться. Время от времени, чтобы не смотреть на очередного свидетеля, она в нее заглядывала, пытаясь воскресить в памяти воспоминания о тех январских днях, когда она приехала в Лодзь навестить родителей. Городской театр, 1939 год. Юлиуш Словацкий, «Кордиан». Хотя спектакль был поставлен самим Шиллером<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Леон Шиллер (1887–1954) – польский режиссер, педагог, теоретик театра.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.